

Александр Иванович Куприн

Прапорщик армейский



Александр Куприн
Прапорщик армейский

«Public Domain»

1897

Куприн А. И.

Прапорщик армейский / А. И. Куприн — «Public Domain», 1897

«Один из моих близких приятелей получил прошлым летом в наследство, после умершей тетки, небольшой хутор в Z-ском уезде, Подольской губернии. Разбираясь в доставшемся ему имуществе, он нашел на чердаке огромный, окованный жестью сундук, битком набитый книгами старинной печати, в которых все «т» похожа на «ш» и от пожелтевших листов которых пахнет плесенью, засохшими цветами, мышами и камфарой. Здесь были: и Эмин, и «Трехлистник», и «Оракул Соломона», и письмовник Курганова, и «Иван Выжигин», и разрозненные томы Марлинского...»

© Куприн А. И., 1897

© Public Domain, 1897

Куприн Александр Прапорщик армейский

Один из моих близких друзей получил прошлым летом в наследство, после умершей тетки, небольшой хутор в Z-ском уезде, Подольской губернии. Разбираясь в доставшемся ему имуществе, он нашел на чердаке огромный, окованный жестью сундук, битком набитый книгами старинной печати, в которых все «т» похожа на «ш» и от пожелтевших листов которых пахнет плесенью, засохшими цветами, мышами и камфарой. Здесь были: и Эмин, и «Трехлистник», и «Оракул Соломона», и письмовник Курганова, и «Иван Выжигин», и разрозненные томы Марлинского. Между книгами попадались письма и бумаги, большей частью делового характера и совершенно неинтересные. Только одна, довольно толстая пачка, свернутая в серую лавочную бумагу и тщательно обвязанная шнурком, возбудила некоторое любопытство моего друга. В ней заключался дневник какого-то пехотного офицера Лапшина и несколько листков прекрасной шершавой бристольской бумаги, украшенной цветами ириса и исписанной мелким женским почерком. Внизу листков стояла подпись: «Кэт», а на некоторых – просто одна буква «К». Не было никакого сомнения, что дневник Лапшина и письма Кэт писаны приблизительно в одно и то же время и относятся к одним и тем же событиям, происходившим лет за двадцать пять до наших дней. Не зная, что сделать со своей находкой, друг переслал мне ее по почте. Предлагая ее теперь вниманию читателей, я должен оговориться, что мое перо лишь слегка коснулось чужих строчек, исправив немного их грамматику и уничтожив множество манерных знаков вроде кавычек, скобок.

5 сентября

Скука, скука и еще раз скука!.. Неужели вся моя жизнь пройдет так серо, одноцветно, лениво, как она тянется до сих пор? Утром занятия в роте:

- Ефименко, что такое часовой?
- Часовой – есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.
- Почему же он лицо неприкосновенное?
- Потому, что до его никто не смеет доторкнуться, ваше благородие.
- Садись. Ткачук, что такое часовой?
- Часовой – есть лицо неприкосновенное, ваше благородие.

И так без конца...

Потом обед в собрании. Водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать из капитанов в подполковники по линии, длинные споры о втором приеме на изготовку и опять водка. Кому-нибудь попадается в супе мозговая кость – это называется «оказией», и под оказию пьют вдвое... Потом два часа свинцового сна и вечером опять то же неприкосновенное лицо и та же вечная «па-а-льба шеренгою».

Сколько раз начинал я этот самый дневник... Мне почему-то всегда казалось, что должна же, наконец, судьба и в мою будничную жизнь вплести какое-нибудь крупное, необычайное событие, которое навеки оставит в моей душе неизгладимые следы. Может быть, это будет любовь? Я часто мечтаю о незнакомой мне, таинственной и прекрасной женщине, с которой я должен встретиться когда-нибудь и которая теперь так же, как и я, томится от тоски.

Разве я не имею права на счастье? Я неглуп, умею держать себя в обществе, даже, пожалуй, остроумен, если только не стесняюсь и не чувствую рядом с собой соперника на том же поприще. О наружности самому судить, конечно, трудно, но мне кажется, что и собою я не совсем дурен, хотя, сознаюсь, бывают ненастные осенние утра, когда мое собственное лицо кажется мне в зеркале отвратительным. Полковые дамы находят во мне что-то печоринское.

Впрочем, последнее больше свидетельствует, во-первых, о скудости полковых библиотек и, во-вторых, о том, что печоринский тип бессмертен в армейской пехоте.

В смутном предчувствии именно этой-то полосы жизни я и начинал много раз свой дневник с целью заносить в него каждую мелочь, чтоб потом ее пережить, хотя и в воспоминании, но возможно ярче и полнее... Однако дни проходили за днями, по-прежнему тягучие и однообразные... Необыкновенное не наступало, и я, потеряв всякую охоту к ежедневной сухой летописи полковых событий, надолго забрасывал дневник за этажерку, а потом сжигал его вместе с другим бумажным сором при переезде на новую квартиру.

7 сентября

Вот уже целая неделя прошла с тех пор, как полк возвратился с маневров. Наступил сезон вольных работ, и роты одна за другой уходят копать бураки у окрестных помещиков, остались только наша да 11-я. Город точно вымер. Эта пыльная и душная жара, это дневное безмолвие провинциального городка, нарушаемое только неистовым ораньем петухов, – раздражают и угнетают меня...

Право, мне жаль теперь кочевой жизни последних маневров, которые подчас казались мне такими невыносимо-тяжелыми! Как живо встают в моей голове незатейливые картины походных движений, и какую скромную прелесть они приобретают в воспоминании! Вот и в настоящую минуту я представляю себе: раннее утро – солнце еще не взошло. На холодном небе, глядящем сквозь дырявое полотнище старой двухскатной палатки, утренние звезды едва мерцают своим серебристым блеском... Бивуак ожил и закопошился... Слышится беготня, сдержанные сердитые голоса, лязг ружей, ржанье обозных лошадей. Сделав над собой усилие, выползаешь из-под мохнатого одеяла, шерсть которого сделалась сверху совсем мокрой от ночной росы, выползаешь прямо на воздух, потому что в низкой палатке стоять нельзя, а можно только лежать или сидеть. Денщик, только что усердно раздувавший своим сапогом жестяной самовар-паучок (что ему, конечно, строжайше запрещено), кидается за водой и приносит ее прямо из ключевого ручья в медном походном котелке. Раздевшись до пояса, умываешься на чистом воздухе и видишь, как от рук, от лица и от тела вьется тонкий розоватый парок... Кое-где, между палатками, офицеры устроили импровизированные костры из той самой соломы, на которой провели ночь, и расселись вокруг, ежась от холода и торопливо глотая горячий чай. Еще несколько минут – и палатки сняты: на том месте, где только что раскидывался «бел город полотняный», валяются лишь в беспорядке пучки соломы и куски бумаги... Гам встревоженного бивуака растет. Все поле кишит солдатскими фигурами в белых рубахах, с серыми скатанными шинелями через плечо. Сначала кажется, что в этой серой муравьиной суе нет никакого порядка, но опытный взгляд заметит, как из нее образуются мало-помалу густые кучки и как постепенно каждая кучка развертывается в длинный правильный строй. Последние запоздавшие люди торопливо бегут к своим ротам, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с патронными сумками. Еще минута – и роты, бряцнув одна за другой ружьями, сходятся на середину поля в правильный огромный четырехугольник.

А потом утомительный тридцати-сорокаверстный и переход. Солнце подымается все выше и выше. К восьми часам утра жара уже дает себя заметно чувствовать, солдаты начинают сучать и поют неохотно, стройные ряды разрозниваются. Пыль с каждой минутой становится гуще, она окутывает длинным желтым облаком всю колонну, медленно, на протяжении целой версты, извивающуюся вдоль дороги; она садится коричневым налетом на солдатские рубахи и на солдатские лица, на темном фоне которых особенно ярко, точно у негров, блестят белки и зубы. В густой запыленной колонне трудно отличить солдата от офицера. Также на время как будто ослабевает между ними иерархическая разница, и тут-то поневоле знакомишься с русским солдатом, с его метким взглядом на всевозможные явления, – даже на такие сложные, как корпусный маневр, – с его практичностью, с его умением всюду и ко всему приспособляться, с

его хлестким образным словом, приправленным крупной солью, которую пропускаешь между ушей. Что бы и кто бы ни встретился по дороге: хохол в широких белых шароварах, лениво идущий рядом с парой сивых круторогих волов, придорожная корчма, еврейская «балагула», бархатное поле, распаханное под озими, – все вызывает его пытливые вопросы и замечания, дышащие то глубоким, почти философским пониманием простой обыденной жизни, то резким сарказмом, то неудержимым потоком веселья...

Начинает темнеть, когда полк подходит к месту ночлега. Видны уже кашевары около больших дымящихся ротных котлов, расставленных в поле, в стороне от дороги... Стой!.. Ружья в козлы!.. В один миг поле покрывается стройными рядами белых шалашиков... И вот через час или два опять лежишь под дырявым полотном, сквозь которое видны яркие мерцающие звезды на темном небе, и прислушиваешься, как угомоняется постепенно сонный лагерь. И еще долго-долго слышатся откуда-то издали отдельные звуки, смягчаемые грустной тишиной вечера: то коснется до слуха однообразное пиликанье гармоники, то сердитый без сомнения, фельдфебельский голос, то внезапно вырвавшееся звонкое ржание жеребенка... А сено, лежащее под головой, примешивает в это время свой тонкий аромат к резкому, горьковатому запаху росистой травы.

8 сентября

Сегодня мой «ротный», Василий Акинфиевич, спросил меня, не хочу ли я ехать вместе с ним на осенние работы. Он заключил для роты очень выгодное условие – чуть не по 272 копейки за пуд – с управляющим господина Обольянинова. Работа будет заключаться в копании бураков для местного свекло-сахарного завода. Она неумолима для солдат, и исполняют они ее очень охотно. Все эти обстоятельства, должно быть, и привели ротного в такое радужное настроение духа, что он не только предложил мне ехать с ним на работы, но даже, буде я соглашусь ехать, уступает в мою пользу полтора рубля из выговоренных им для себя суточных денег. Другие командиры рот никогда еще не проявляли по отношению к субалтерн-офицерам такого великодушия.

Странное, вернее сказать, смешанное у меня чувство к Василию Акинфиевичу. На службе я его не терплю. Тут он проявляет злобную грубость и неумолимую мелочность. Во время ротного учения он, не стесняясь солдатами, кричит на младшего офицера: «Поручик, извольте держать равнение! Идете, точно отец дьякон в похоронной процессии!» Если это и остроумно, то зато безжалостно и нетактично. С солдатами Василий Акинфиевич изволит иногда расправляться собственной ручкой, но зато у него господа взводные даже и подумать не смеют прибегнуть к такой мере исправления. Солдаты его любят и, что всего важнее, верят каждому его слову. Они все хорошо знают, что Василий Акинфиевич не только из ротного приварка копейки не тронет, но даже и собственных рублей двадцать пять в месяц прибавит, что Василий Акинфиевич своего в обиду не даст, а, наоборот, за него хоть с самим полковым погрызется. Знают все это, и я уверен, что в случае войны все до единого пойдут за Василием Акинфиевичем, не колеблясь, хоть на самую очевидную смерть.

Очень мне не нравится в моем ротном его преувеличенная ненависть ко всему «благородному». В его уме со словом «благородство» связано понятие о нелепом франтовстве, манерничанье, полной неспособности к службе, трусости, танцах и гвардии. Даже самое слово «благородный» он произносит не иначе, как с оттенком ядовитейшей насмешки и притом отчаянно фатовским тоном, так что у него выходит нечто вроде «бэгэрэдный». Впрочем, надо оговориться, что Василий Акинфиевич тянул служебную ляжку с солдатских чинов. А в ту эпоху, когда он только что получил первый офицерский чин, плохо приходилось бедным армейским бурбонам от завитых и напомаженных армейских моншеров.

С людьми он сходитя туго, как и всякий закоренелый холостяк, но, полюбив кого-нибудь, открывает ему вместе с карманом свою наивную, добрую и чистую душу. Но, даже и

открывая душу, Василий Акинфиевич не перестает ни на минуту сквернословить, – это тоже его дурная черта.

Меня он, кажется, по-своему любит – я все-таки недурной фронтовик. В минуты денежного кризиса я свободно черпаю из его кошелька, и он никогда не торопит отдачей долга. В свободное от службы время он называет меня прапорщиком и прапорам. Этот развеселый армейский чин давно уже отошел в вечность, но старые служаки любят его употреблять в ласкательно-игривом смысле, в память дней своей юности.

Мне иногда бывает его жаль. Жаль хорошего человека, у которого вся жизнь ушла на изучение тоненькой книжки устава и на мелочные заботы об антабках и трынчиках. Жаль мне бедности его мысли, никогда даже не интересовавшейся тем, что делается за этим узеньким кругозором. Жаль мне его, одним словом, той жалостью, что невольно охватывает душу, если долго и пристально глядишь в глаза очень умной собаки...

Я ловлю себя... А разве я-то сам стремлюсь куда-нибудь? Разве так уже нетерпеливо бьется моя пленная мысль?.. Нет, Василий Акинфиевич хоть что-нибудь да сделал в своей жизни, вон и два Георгия у него на груди, и на лбу шрам от черкесской шашки, и у солдат его такие толстые и красные морды, что смотреть весело... А я?.. Я сказал, что на работы поеду с удовольствием. Может быть, это развлечет меня? Управляющий... у него жена, две дочери, два-три соседних помещика, может быть, маленький романчик?.. Завтра выступаем.

7 сентября

Сегодня утром мы прибыли по железной дороге на станцию «Конский брод». Оказалось, что управляющий имения, предупрежденный о нашем приезде телеграммой, выслал за Василием Акинфиевичем и за мной коляску. Черт возьми, я еще никогда не ездил с таким шиком! Четверня цугом породистых, прекрасных лошадей, резиновые шины, коляска, серебряные бляшки на сбруе, а на козлах здоровенный детина, одетый не то казачком, не то грумом: в клеенчатом картузе и в красном шарфе вместо пояса. До Ольховатки верст восемь. Дорога чудная: с обеих сторон густые пирамидальные тополя. Навстречу нам то и дело попадались длинные вереницы возов, нагруженные доверху холщовыми мешками с сахаром. По этому поводу Василий Акинфиевич сообщил мне, что с Ольховатского завода вывозится ежегодно около ста тысяч пудов сахара. Цифра почтенная, в особенности если принять во внимание, что Обольянинов – единственный хозяин предприятия.

В усадьбе нас встретил управляющий. Фамилия у него немецкая – Бергер, но немецкого у него ничего нет ни в акценте, ни в наружности. Скорее всего, по-моему, он похож на того Фальстафа, которого я видел где-то на выставке, кажется, в Петербурге, когда приезжал туда держать мой несчастный экзамен в Академию генерального штаба. Толст он необычайно, жир так и сквозит, так и лоснится у него на отвислых щеках, покрытых сетью мелких красных жилок; волосы на голове – короткие, прямые, с проседью, усы торчат воинственными щетками, короткая эспаньолка под нижней губой; глаза под густыми взъерошенными бровями быстрые, лукавые и до смешного суженные опухлостью щек и скул; губы, и в особенности улыбка, обличают в нем сладострастного, веселого, беззастенчивого и очень наблюдательного человека. При этом он, должно быть, глух, потому что в разговоре отчаянно кричит.

Я думаю, Бергер нам искренне обрадовался. Таким людям, как он, собеседник и собутыльник нужнее воздуха. Он ежеминутно подбегал то ко мне, то к капитану, обнимал нас за талию и все приговаривал: «Милости просим, господа, милости просим». Василию Акинфиевичу он, к моему немалому удивлению, понравился. Мне тоже.

Бергер проводил нас во флигель, где нам приготовлены четыре комнаты, снабженные всем нужным и ненужным с такой щедрой заботливостью, как будто бы мы приехали сюда не на месяц, а по крайней мере года на три. Капитан, по-видимому, остался доволен этой внимательностью к нам со стороны хозяев. Только один раз, именно, когда Бергер, выдвинув ящик

письменного стола, показал поставленную для нас целую коробку длинных ароматных сигар, Василий Акинфиевич пробурчал вполголоса:

– Ну, уж это лишнее... это уж бэгэрэдство и всякая такая вещь. (Я и забыл упомянуть об его привычке прибавлять чуть ли не к каждому слову: «и всякая такая вещь». Вообще он не из красноречивых капитанов.)

Вводя нас, так сказать, во владение, Бергер очень много суетился и кричал. Мы его усиленно благодарили. Наконец он, по-видимому, устал и, обтирая лицо огромным красным платком, спросил: не нужно ли нам еще чего-нибудь? Мы, конечно, поспешили его уверить, что нам и так всего более чем достаточно. Уходя, Бергер сказал:

– Сейчас я вам пришлю казачка для услуг. Чай, завтрак, обед и ужин вы соблаговолите заказывать для себя сами, по своему желанию. Каждый вечер к вам будет для этой цели приходить буфетчик. Наш погреб тоже к вашим услугам. Целый день мы провели в том, что размещали в пустых сараях солдат с их ружьями и амуницией. Вечером казачок принес нам холодной телятины, жареных дупелей, какой-то фисташковый торт и несколько бутылок красного вина. Едва мы сели за стол, как явился Бергер.

– Кушаете? Ну и прекрасно, – сказал он. – А я вот притащил бутылочку старого венгерского. Еще мой покойный фатер воспитывал его лет двадцать в своем собственном имении... У нас под Гайсином собственное имение было... Вы не думайте, пожалуйста: мы, Бергеры, прямые потомки тевтонских рыцарей. Собственно, у меня есть даже права на баронский титул, но... к чему?... Дворянские гербы любят позолоту, а на нашем она давно стерлась. Милости прошу, господа защитники престола и отечества!

Однако, судя по тому, с какими мерами боязливой предосторожности он извлекал заплесневелую бутылку из бокового кармана каламянкового пиджака, я скорее склонен думать, что старое венгерское воспитывалось в хозяйских погребах, а не в собственном имении под Гайсином. Вино – действительно великолепное. Правда, оно совершенно парализует ноги, лишает жесты их обычной выразительности и делает неповоротливым язык, но голова остается все время ясной, а дух – веселым. Бергер рассказывает смешно и живо. Он весь вечер болтал о доходах помещика, о роскоши его петербургской жизни, о его оранжерее и конюшнях, о жалованье, которое он платит служащим. Самого себя Бергер сначала отрекомендовал главным-управляющим всеми делами. Но через полчаса он проболтался: оказалось, что в числе управляющих имениями и служащих при заводе Фальстаф занимает одно из последних мест. Он всего-навсего лишь смотритель Ольховатской усадьбы, попросту – эконом, и получает девятьсот рублей в год на всем готовом, кроме платья.

– И куда столько добра одному человеку! – воскликнул наивно капитан, видимо, пораженный теми колоссальными цифрами наших доходов и наших расходов, которыми так щедро сыпал Фальстаф. Фальстаф сделал лукавое лицо.

– Все единственной дочке пойдет. Ну-ка, вот вы, молодой человек, – он игриво ткнул меня большим пальцем в бок, – ну-ка, возьмите да женитесь... Тогда и меня, старика, не забудете... Я спросил с небрежным видом человека, видавшего виды:

– И хорошенькая?

Фальстаф так и побагровел от хохота.

– Ага! Забирает? Прекрасно, воин, прекрасно... Атака с места в карьер. Тра-там-та-та-та. Люблю, когда по-военному. – Потом он вдруг, точно от нажима пружинки, сразу перестал смеяться и прибавил: – Как вам сказать?... На чей вкус... Уж очень она того... субтильна. Жидка больно...

– Бэгэрэдство! – вставил капитан, скривив рот.

– Этого сколько угодно. Гордая. Соседей знать не хочет. У! Бедовая. Прислуга ее пуще огня боится... И ведь нет того, чтобы крикнула на кого или побранила бы. И – никогда! Принесите то-то. Сделайте то-то... Ступайте... И все это так холодно, не шевеля губами!

– Бэгэрдство! – сказал капитан и презрительно шмыгнул носом.

Так мы просидели часов до одиннадцати.

Под конец Фальстаф совсем раскис и заснул, сидя на стуле, с легким храпом и с блаженной улыбкой вокруг глаз. Мы его с трудом разбудили, и он отправился домой, почтительно поддерживаемый нашим казачком под локоть. Я забыл написать, что он холост. Это, по правде сказать, сильно расстраивает мои планы. Странное дело: как ужасно долго тянется день на новом месте и как в то же время мало остается от него в голове впечатлений. Вот я пишу теперь эти строки, и мне кажется, что я уже давным-давно, по крайней мере месяца два, живу в Ольховатке и что моя уставшая память никак не может зацепиться ни за одно событие.

12 сентября

Сегодня я осмотрел почти всю Ольховатскую экономию... Барский дом, или, как здесь говорят крестьяне, палац, – одноэтажный, каменный, длинный, с зеркальными стеклами в окнах, с балконом и с двумя львами на подъезде. Вчера он мне показался не таким большим, как сегодня. Перед домом разбиты клумбы; дорожки между ними посыпаны красным песком; посередине фонтан и блестящие шары на тумбах, вокруг – легкий забор из проволочной колючей решетки. За домом – флигель, службы, скотный и птичий дворы, конный завод, хлебные амбары, оранжереи и, наконец, густой, тенистый, раскинувшийся на трех-четыре десятинах сад с ручейками, гротами, висячими грациозными мостиками и с озером, по которому плавают лебеди.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.